многочисленные предубеждения ⁴. Но все же византийское литературное влияниспроникало на Запад — и того же «Диганиса Акрита», к примеру, знали во Фланд-

рии 5

Византийская филология, начиная с Фотия и Евстафия,— прямо или опосредствованно — подготовила филологию эпохи Возрождения. Византийское богословие (а в средние века именно богословие было наукой наук) было тесно связано с западной схоластикой: их взаимовлияние в XII в. прекрасно проследия П. Классен 6. А если мы учтем, что рационализм проникает в византийское богословие в XI в. (я имею в виду Пселла, Итала и Евстратия Никейского), традиционный тезис об абсолютной самостоятельности западной схоластики (стр. 51) окажется, во всяком случае. поставленным пол сомнение.

Во второй статье Джеанакоплос выступает против традиционных представлений о всемогуществе василевса в религиозной сфере. Он расчленяет отдельные стороны взаимоотношений церкви и государства: в церковной администрации, полагает он (стр. 65 и сл.), императору принадлежали большие права (поставлять патриарха, перекраивать диоцезы, созывать вселенские соборы),— впрочем я хотел бы обратить внимание, что на практике и административные права государя (например, правораздачи монастырей в харистикий) неоднократно ставились под сомнение. «Литургические» привилегии императора, показывает Джеанакоплос (стр. 69 и сл.), были относительно невелики, а в «эсотерической» области церковной жизни, т. е. в области догматики, императорский абсолютизм оставался бессильным: проведенные императором догматические преобразования всякий раз оказывались временными (стр. 73 и сл.). Джеанокоплос приводит ряд примеров безуспешных попыток подобного рода (сюда можно прибавить еще попытку Мануила I отказаться от «анафемы богу Мухаммеда») — бесплодная борьба Михаила VIII и Иоанна VIII за унию принадлежит к их числу (стр. 79).

Поставленная Джеанакоплосам проблема, по сути дела, шире заголовка — речь идет не об отношении императора и церкви, а о соотношении византийского самодержавия и византийского традиционализма, одним (но не единственным!) хранителем которого была православная церковь. Византийское самодержавие кажется на поверхностный взгляд более самовластным, чем оно было на самом деле 7. Выяснить ограниченность его — одна из важнейших задач, стоящих перед византиноведением.

A. K.

R. JENKINS. BYZANTIUM: THE IMPERIAL CENTURIES. AD. 610—1071. London, 1966, 400 p.

Рассчитанная на широкого читателя, почти совсем освобожденная от аппаратам от аргументации, книга Р. Дженкинза оставляет прежде всего впечатление — если об этом позволено судить человеку, для которого английский отнюдь не является родным языком, — хорошей прозы. Неожиданные и острые формировки, публицистичность (временами, впрочем, доходящая до предвзятости), образное видение героев повествования, главным образом, византийских василевсов, — все это заставляет вспомнить об эссеистических традициях англо-саксонской византинистики, восходящих еще к Гиббону.

Это художественное отношение к прошлому незаметно приводит Дженкинза к тому, что интуиция (или то, что он принимает за интуицию) заменяет в его изложении исторический факт или логическое обоснование. Блестяще обрисован Дженкинзом образ Василия II — так не похожего на его царственных предков и внешностью, и всем своим поведением (стр. 301 и сл.). И можно было бы даже смириться с тем, что он напоминает норманского правителя, допустим Вильгельма Завоевателя. Но когда из эгого — чисто интуитивного — сходства (в чем оно состоит конкретно, Дженкинз не говорит) делается вывод, что мать Василия, Феофано, прижила ребенка от какого-нибудь варяжского воина или что в нем проявили себя гены его пра-

⁴ Трактовка схизмы — одно из интереснейших мест книги: я имею в виду и определение схизмы не как однократного акта 1054 г., а как долгого процесса, завершающегося в 1204 г. (стр. 1), и подчеркивание социально-психологического аспекта раскола, определившегося — вопреки политическим потребностям — устоявшимся психическим состоянием взаимной враждебности (стр. 109 и др.). Социально-психологические причины исторических явлений следует учитывать вслед за экономическими и полигическими.

⁵ CM. D. C. Hesseling. Eine Digenisübersetzung aus dem 13. Jh.? — BZ, 22, 1913. ⁶ P. Classen. Das Konzil von Konstantinopol 1166 und die Lateiner.— BZ, 48, 1955.

⁷ См. об этом также: H. G. Beck. Senat und Volk von Konstantinopel. München, 1966.

прабабушки Евдокии Ингерины, дочери Игоря-скандинава,— то чувствуешь себя на

страницах даже не романа, а научно-фантастической повести.

Хронологически книга Дженкинза охватывает то, что принято называть (и автор этому следует) «средневизантийским» периодом: от Ираклия до битвы при Манцикерте. Научная концепция в своих основных чертах восходит ко взглядам Г. А. Острогорского: Дженкинз относит к правлению Ираклия качественный сдвиг, в основе которого лежало создание фемной системы (стр. 23); он не только признает массовость славянского расселения в империи (стр. 343), но и связывает упрочение Византии при Ираклидах с трудолюбием эллинизированных славян и их умением приспособиться к новым условиям (стр. 14); «многочисленные славянские поселенцы, пишет Дженкинз,— уже достигшие высокого уровня агрикультуры и техники, упорные, работящие, терпеливые и сравнительно свободные, революционизировали сельскую экономику и создали то процветание сельского хозяйства по обоим берегам Эгейского моря, которое стличает Византийскую империю в VIII—XI вв.» (стр. 54) ¹; «Земледельческий закон» он относит к правлению Юстиниана II и видит в нем отражение той аграрной перестройки, которая произошла в VII в. и сущность которой состояла в замене свободной общиной крупного поместья, обрабатываемого трудом зависимых людей (стр. 53). Как и Острогорский, Дженкинз признает принци-пиальное сходство аграрных порядков в Анаголии IX—XI вв. с западной феодальной системой (сгр. 206), говорит о «баронах» Восточной Анатолии (стр. 273) и сближает византийскую пронию с западными феодальными институтами (стр. 365).

Я специально подчеркиваю близость к Острогорскому взглядов, отраженных в книге 1966 г., потому, что в последнее время в западной историографии все чаще высказывается мысль об устарелости концепции Острогорского; особенно подвергается критике его представление о коренных переменах в общественной структуре VII в. и о византийском феодализме 2. Эти принципиальные положения как раз и сохраняет Дженкинз. И это, думается мне, заставляет еще раз призадуматься — не слишком ли торопятся критики Острогорского «похоронить» его концепцию и заменить ее представлением о неизменной и обособленной византийской цивилизации.

В свое время в рецензии на книгу Острогорского «История Византийского государства» я попытался подвергнуть обсуждению трактовку югославскими учеными проблемы упадка Византии 3; должен признаться, что и в изложении Дженкинза эта

трактовка не показалась мне более убедительной.

Дженкинз констатирует прежде всего, что причины упадка надо искать во внутренних противоречиях (стр. 333), а именно в борьбе между светской и военной знатью (стр. 334). Если бюрократическая элита, унаследованная от Римской империи, была всегда характерна для Византии (стр. 334), то военная знать вырастает на определенном этапе и быстро превращается в замкнутый клан (стр. 205). По мнению Дженкинза, предпосылки для этого были созданы восстанием Фомы Славянина, вызвавшим разорение крестьянства (стр. 143, 206). Рост влияния знати он называет раковой опухолью, полагая, что императоры Македонской династии еще удерживали беду в известных рамках (стр. 250), но что после смерти Василия II, «старая организация» рухнула (стр. 364).

Такая трактовка мыслима однако лишь при принятии определенной предпосылки — что централизованное деспотическое государство всегда действеннее, жизнеспособнее государства, основанного на феодальных или парафеодальных принципах. Эта предпосылка чувствуется у Дженкинза, когда он рисует идеализированную картину византийской бюрократической элиты — образованной, наделенной способностями и вкусом (стр. 334); она чувствуется и в его похвалах византийским императором — от Ираклия дс Василия II, и в его выводах, когда он пишет о Византии как государстве, зиждившемся прежде всего на вере (стр. 379 и сл.). И вместе с тем в самом изложении Дженкинза проступают черты, противоречащие его предпосыл-

ке и его концепции в целом.

В самом деле. Говоря о восстании в Опсикии 932 г. и подчеркивая, что вождь восставших крестьян принял имя аристократа Константина Дуки, Дженкинз делает остроумный вывод: хотя императорские новеллы объявляли крупных землевладельцев свиреными волками, законодатель не выражал в них воззрения крестьян, но свои собственные (стр. 249). Иными словами, византийское правительство боролось против роста крупной собственности отнюдь не в интересах крестьянства. Но тут допустимо пойти дальше и поставить вопрос о том, что налоговое бремя Византийской империи могло в определенных условиях оказаться гораздо более опасной «раковой опухолью», нежели натиск военной аристократии на сельскую общину: ведь

:

³ А. П. Каждан.— ВИ, 1965, № 9, стр. 171—174.

¹ Наряду со славянским расселением, большую роль, по мнению Дженкинза, сыграло проникновение в империю армян; даже Ираклия он считает армянином (стр. 20), а Василия I — сыном армянина и славянки (стр. 165).

⁽стр. 20), а Васялия I— сыном армянина и славянки (стр. 165).

В особо безапелляционной форме эти замечания были суммированы И. Караяннопулосом (J. Karayannopulos. Hauptfragen der Byzantinistik der letzten Jahren.— Frühmittelalterliche Studien, Bd. I. Berlin, 1967, S. 170—185).

и сам Дженкинз признает, что положение парика вряд ли было тяжелее, нежели

положение «своболного» крестьянина (стр. 206).

Что касается военной сферы, то Дженкинз не один раз справедливо подчеркивает, что в X в. она находилась в руках крупных земельных собственников (стр. 381) и что бюрократическая элита ненавидела и ослабила армию (стр. 334). И тут я позволю себе спросить, не привела ли расправа Василия II — «величайшего военного гения и величайшего военного организатора», по щедрой характеристике Дженкинза (стр. 301), — не привела ли эта расправа с византийской военной аристократией к тому, что при преемниках Болгаробойцы армия была обезглавлена и потребовалось несколько поколений, чтобы выросла та новая военная знать, которая и составила опору режима Комнинов?

Дженкинз видит в византийской унифицирующей религии 4 и в армии основные силы, поддерживавшие империю (стр. 379—382),— но вряд ли при такой постановке вопроса можно сбросить со счетов государственную машину, административный аппарат. А в таком случае опять-таки возникает проблема, являлась ли централизованная империя в средневековых условиях (с растянутостью коммуникаций, с распы-

ленностью населения) оптимальной формой государственного устройства.

Для понимания судеб Византийской империи, наконец, весьма существенным было бы определить место города— но этот вопрос остается вне поля зрения Дженкинза: если аграрным преобразованием он уделяет немало внимания, то городам посвящено лишь несколько случайных и бессодержательных фраз (стр. 154, 208, 335),— а разве рост провинциальных центров в X—XI вв. не подрывал монопольное положение Константинополя?

Книга Дженкинза — в основном политическая история: изложение ведется по императорам, и лишь в нескольких главах, нарушая этот принцип, автор рассматривает важнейшие идеологические и политические столкновения: иконоборчество, образование двух империй, споры о четвертом браке Льва VI, схизму 1054. При этом Дженкинз касается принципиально важной проблемы — отражения в идеологиче-

ской борьбе социально-политических интересов.

Приступая к иконоборческой проблеме, Дженкинз критикует «современную тенденцию» видеть в идеологических спорах лишь «маску или внешнее выражение» социальных, политических, экономических или националистических интересов. Он заявляет, что марксистское толкование богословских споров сводится к тому, что в монофиситском тезисе об одном естестве Христа усматривают требование хлеба и одежды. «Марксистская интерпретация иконоборства объявляет его ранним революционным и народным движением... против экономической эксплуатации и религиозного обскурантизма» (стр. 75 и сл.).

Не знаю, чего в этих словах больше— неосведомленности или предвзятости. Ничего подобного, конечно, нельзя найти в работах об иконоборчестве М. Я. Сюзюмова или Е. Э. Липшиц. Да Дженкинз и не читал, их, как не читал вообще советскую византиноведческую литературу. Думаю, что подобного рода «критика» не помогает взаимопониманию народов, способствовать которому— прямая задача уче-

ны

Но объявив иконоборчество чисто идейным движением, борьбой «эры магии против эры религии» (стр. 76), Дженкинз не смог остаться последовательно идеалистичным и должен был обратиться к политическим корням иконоборства (стр. 80 и сл.). И в самом деле движение это отражало не только саморазвитие идей, но и столкновение реальных интересов. Еще более отчетливо отказ от идеалистического принципа проявляется в трактовке схизмы 1054 г. Говоря о ней, Дженкинз прямо отметает богословскую сторону проблемы: вопрос об исхождении св. духа, оказывается, понятен только теологам (стр. 179, 355 и сл.) — и останавливается лишь на политическом аспекте спора. Но разве нельзя вернуть ему бумеранг и сказать, что с его точки зрения византиец XI в., говоря о сыне и духе как деснице и шуйце богаотца, имел в виду захват Южной Италии? Это будет так же нелепо, как и то, что Дженкинз приписал мэрксизму. И кстати сказать, если спор об исхождении св. духа — чисто богословская проблема, почему вопрос о почитании икон не является таковой же?

Идейная борьба в Византии заслужила лучшего изложения, чем в книге Дженкинза. И в частности о византийской литературе нельзя писать так нигилистически пренебрежительно, как это сделано в пределах одного (!) абзаца на стр. 385. Византийцы не только сохранили античные памятники, но и создали свой особый эстетический идеал, который с XI в. постепенно уступает место новому, предрене-

сансному.

A. K.

⁴ Дженкинз как никто другой подчеркивает подчиненность византийской церкви государству (стр. 225), хотя и допускает, что отдельные лица и «партии» не повиновались полностью этой доктрине.